



А. В.
АМФИТЕАТРОВ



Мертвые боги: Рассказы. Роман // Современник, Москва, 1991

ISBN: 5-270-01012-7

FB2: "rvvg", 07.05.2009, version 1.2

UUID: 84DFE326-BB62-41CE-94D5-BB42D4B0EF62

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

**Александр Валентинович
Амфитеатров**

Домашние новости
(Бабы и дамы)

Сборник «Мертвые боги» составили рассказы и роман, написанные А. Амфитеатовым в России. Цикл рассказов «Бабы и дамы» — о судьбах женщин, порвавших со своим классом из-за любви, «Измена», «Мертвые боги», «Скиталец» и др. — это обработка тосканских, фламандских, украинских, грузинских легенд и поверий. Роман «Отравленная совесть» — о том, что праведного убийства быть не может, даже если внешне оно оправдано.

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0020
Примечания.....	.0049

А. В. Амфитеатров

Домашние новости

Гражданин Северо-Американских Соединенных Штатов Александр Николаевич Чилюк лежал на диване и сам себе не верил: неужели он опять в России, в захолустной деревушке своего отца, в том самом доме, откуда, двенадцать лет тому назад, ушел в свое всесветное бродяжничество?

Да... И даже ничего не изменилось с тех пор в этой тихой обители. Те же темные, поблекнувшие обои, те же кожаные диваны, те же портреты генералов и архиереев по стенам... все старое: точно и не уезжал... Недостает только, чтобы по дому раздавались быстрые тяжелые шаги и резкий бранчивый голос матери Чилюка, умершей в его отсутствие... Чилюк поморщился; ему припомнилось, как здесь, в этой комнате, где теперь наслаждается он послеобеденным отдыхом, разыгралась, двенадцать лет тому назад, горькая, тяжелая сцена.

Мать его ненавидела; а уж если мать ненавидит свое дитя, то ненависть бывает ужасна и беспощадна. У Чилюка мороз по коже про-

бежал при воспоминании о детстве — голодном, холодном, полном слез и бесчеловечных наказаний. Другой бы ребенок не вынес, но он унаследовал, точно назло матери, ее богатырское сложение и вырос молодцом. И головой его Бог не обидел. Шесть классов гимназии прошел он в первом разряде, а тут и попутал грех. Чилюк переслал во время extemporale[1] записку слабому товарищу. Вспыльчивый педагог обмолвился... назвал Чилюка мерзавцем, а Чилюк ответил пощечиной... Выгнали с волчьим паспортом, и хорошо еще, что только тем кончилось дело. Мог угодить в тюрьму... в солдаты...

— Поздравляю, Александр Николаевич, с повышением. Теперь вам уже и до арестантских рот недалеко.

И Чилюку стало немножко жутко, когда он воскресил в памяти мать — тучную пожилую женщину, с желтым лицом, искаженным от гнева на ненавистного сына. Щеки у нее тряслись, и глаза остановились, как у одержимой столбняком, когда она говорила эти злые, не материнские слова. Но тогда Чилюк не сробел, сам по-волчьи сверкнул на мать своими,

похожими на ее, глазами и так же злобно и презрительно ответил ей:

— Сами не попадите туда раньше меня!

Отец, при этой фразе, испуганно зажал уши и выбежал из комнаты.

Александр Николаевич улыбнулся: отец ничуть не изменился за двенадцать лет. Все тот же сырой, рыхлый мужчина с кислым, никогда не выглядевшим молодо, но зато и не стареющим, бабьим лицом. По-прежнему же-нолюбив, слаб и не может жить без опеки. Александру Николаевичу очень не понравилась, по первому взгляду, особа, заменившая в доме его мать, — эта Александра Кузьминишна... или как там ее? Словом, «мой лучший друг», по рекомендации отца. У нее фигура крупчатой уездной поповны, а лицо старой девы — нос башмаком и злые серые глаза буравчиком; если она рассердится, они, вероятно, станут зелеными. Такие глаза бывают только у скверных людей. Отец, по-видимому, у нее в полном подчинении: что ни вздумает сказать, сперва взглянет на Александру Кузьминишну, точно спросить позволения. Влюблен, как кот, и под башмаком, — ясное дело.

Каково-то уживается с избранницей его сердца сестра Катя?

Александр Николаевич, по крайней мере, в десятый раз с утра пожалел, что не застал Катю дома.

— Угораздило же ее так некстати уехать к какой-то подруге, да еще в Саратовскую губернию, да еще на целый месяц! Этак и не увидишь ее, пожалуй... Через месяц я за тридцать земель буду. А хотелось бы повидать...

Когда, против воли порешив с гимназией, Александр Николаевич с отчаяния бросился в заманчивую, полную тревог и переворотов жизнь авантюриста и уехал добровольцем к Черняеву, Катя одна искренно плакала о нем. Мать и проститься не захотела с ним, отец благословил как-то наскоро и смущенно, словно втайне рад был, что отделался от «мерзавца» сына, с которым решительно не знал, что делать дальше. Кате тогда было двенадцать лет; теперь она — уже двадцатичетырехлетняя девушка и, вероятно, красавица: девочкой она обещала много. Но Александр Николаевич не мог вообразить ее взрослою. Он вспомнил ее белое и румяное личико с

большими черными глазами, ясными, чистыми и правдивыми, и у него потеплело на душе. Это личико часто грезилось ему, как последний обломок немногих приятных воспоминаний о родине, и в грозные ночи на алексинацких редутах, и когда он стоял вольным матросом на вахте парохода, уносившего его из Марсея в Соединенные Штаты, и в бараке, где он, вместе с десятками товарищей-землекопов на линии Тихоокеанской железной дороги, лежал в жестоких припадках малярии. Сколько он видел, испытал, пережил и переучувствовал в эти двенадцать лет! Чем только не был он в Америке! Землекоп, разносчик газет, посыльный, мелкий бакалейщик, матрос, дрогнет, распорядитель общества похоронных процессий, адвокат, коммивояжер и, наконец, — для того, чтобы увенчать эту лестницу состояний, — сперва приказчик, а потом счастливый компаньон крупной мануфактуры, для которой он с чисто российской сметкой, почти нечаянно, изобрел приспособление, дорого оцененное на рынке...

Дверь скрипнула.

— Саша, можно к тебе?

На пороге стоял отец Чилюка — Николай Евсеевич.

— Разумеется, папенька!

Старик вошел, тщательно запер дверь и опустил медный язычок на замочную скважину. Александр Николаевич наблюдал родителя не без изумления.

— Что это, папенька? К чему такие предосторожности?

Старый Чилюк сделал многозначительную гримасу и подсел к сыну.

— Видишь ли, друг мой, — пожевав губами, начал он очень тихим голосом, — ты меня извини, пожалуйста, что я потревожил твой сон...

— Да я не спал.

— Тем лучше... Но мне надо говорить с тобой об очень важном деле и... и секретно: главное, чтоб она не слыхала!

— Кто она? Александра Кузьминишна, что ли? А вы, добрейший папа, как я замечаю, имеете к ней немалый респект.

Николай Евсеевич покраснел.

— Но... как же иначе? Она — не кто-нибудь, а девушка хорошей фамилии, с образо-

ванием, и при том... гм!.. при том... хоть это — не совсем-то ловкое признание сыну со стороны отца, но ты, как человек бывалый, наблюдательный, не мог сам не заметить, что она мне очень дорога!

— Не мог не заметить: вы правы. Что же дальше?

— Саша! — трагически воскликнул Чилюк после некоторого молчания, — признайся: очень ты меня презираешь?

— Вас? За что? До ваших сердечных дел мне нет дела. Я — отрезанный ломоть, отделен от вас и морями, и горами, и реками. На таком почтенном расстоянии мы можем существовать, ничуть не нуждаясь в мнении друг друга.

— Как человек, как посторонний человек, Саша! — продолжал Николай Евсеевич, — я знаю, что потерял право видеть в тебе члена семьи... Но как человек!

Сын пожал плечами.

— Что ж? Вам только пятьдесят лет, и вы не святой. Если ваш роман не приносит никому зла, никто не станет судить вас строго. Меня же прошу уволить от ответа. Какой я вам

судья? Я только что приехал, ни к чему не пригляделся. Может быть, дама вашего сердца — ангел, а может быть, дьявол; может быть, ее присутствием создается рай в доме, а может быть, ад. Как она уживается с Катей? Вот вам — судья настоящий, по праву, компетентный, с основаниями и доказательствами. К Кате и обратитесь. А мне что! Так-то, папа!

Александр Николаевич засмеялся, но старик не развеселился, а, напротив, сидел как в воду опущенный.

— Я должен тебе признаться, — пробормотал он, запинаясь и багровея, — что... это, конечно, очень странно... но Катя не живет у меня больше.

Александр Николаевич внимательно взглянул в смущенное лицо отца.

— То есть?

— Она ушла от нас.

— Как ушла? куда?

— Совсем ушла. Не поладила с Александрой Кузьминишной и не захотела оставаться с нею под одной крышей... так, потихоньку, и ушла. Ты знаешь Теплую слободу — тут близко, под городом? Там ее кормилица Федо-

сья живет... кружевница — помнишь? У Федосьи и поселилась...

Александр Николаевич вскочил с дивана.

— Это бред какой-то! — вскричал он, — неужели вы это серьезно? Да у вас в доме — эпидемия, что ли? То сын сбежал в Сербию, то дочь куда-то к черту на куличики. И потом: я помню Катю смирной, кроткой девочкой. Я думаю, надо было неистово оскорбить ее, чтобы она решилась на такую штуку!

— Александра Кузьминишна действительно была резка с нею...

— А у вас не хватило характера вступить за дочь? — презрительно заметил Александр Николаевич.

— Ты напрасно так думаешь, Саша! Я, конечно, не смею хвалиться: я далеко не богатырь воли, но все-таки помню свои обязанности и... и не дал бы Кати в обиду. Но Катя была сама в этом случае словно сумасшедшая. Она возненавидела Александру Кузьминишну, едва та вошла в дом. Надо тебе сказать, что пред смертью твоей покойницы-матери Катя была с ней очень хороша, совсем не так, как раньше. Ты помнишь, что у Глаши был

ужасный, тяжелый характер... Ревновала ли Катя к памяти Глаши, просто ли чувствовала антипатию к Александре Кузьминишне, но сцены следовали за сценами. Я был мучеником между двумя этими женщинами, клянусь тебе...

— Охотно верю. Дальше.

— Ну, в одно прекрасное утро они поссорились сильнее обыкновенного — и Катя исчезла, оставив мне самую резкую записку, какую только можно вообразить.

— Гм!

— Ты не веришь? Напрасно! Взгляни!

«Папа, — прочитал Александр Николаевич, — мне тяжело в вашем доме так, что больше терпеть я не в силах. Я буду жить одна у добрых людей. Там, по крайней мере, меня обижать никто не посмеет. Мне ничего не надо, никаких денег, но не требуйте меня домой. Выгнать Александру Кузьминишну вы не решитесь, а жить вместе с этой подлой женщиной я не стану, лучше умру. Не сердитесь на меня за это, а я не сержусь. Ваша Катя».

— Позвольте, папа: в этой записке нет ни

одного знака препинания, мерзкий почерк, «вместе» через два «есть» написано, не «посмеит» вместо не «посмеет»... Неужели это Катя писала?

— Друг мой, ты знаешь, как туга она была на науку, а в последние годы она книги в руки не брала.

— Но все-таки... Кстати: вы ее где учили?

— Домашним воспитанием...

Александр Николаевич досадливо махнул рукой.

— То-то она пишет как прачка!.. Но что она может делать там, у этой Федосьи? Ну, я помню ее — отличная женщина, но не станет же она держать Катю на хлебах даром. Вы говорите, Катя денег не взяла?

— Ни копейки, и все, что я ни посылал, возвращала.

— А звать ее назад вы пробовали?

— Да, но она резко отклонила мои просьбы, а потом и...

— И Александра Кузьминишна запретила. Эх!.. Необразованная, воспитанная белоручкой — на что годится она там?!

— Ах, Саша! — Николай Евсеевич просле-

зился, — мне передавали, будто она ужасно опустилась, стала совсем comme une raucanne [2]; одевается по-ихнему, так же работает, как они...

— Ну, это еще — куда ни шло! я сам целых шесть лет состоял хуже чем в пейзажах, пока не выбился в люди...

— Но, Саша! прибавляют, будто она очень дурно ведет себя, что она забыла всякий стыд и женственность...

— Катя?!

— Да, cher... Et l'on dit enfin, что у ней есть... un amant...[3] А? каково это слышать?!

— Продолжайте, — наморщив лоб, мрачно сказал сын.

— Другие говорят, что их не один, а много... Чего же тебе еще? Я все сказал...

— Действительно, вполне достаточно.

— Позволь! Куда же ты? — вскрикнул Николай Евсеевич, видя, что сын взялся за шляпу.

— В Теплую слободу, разумеется. Надо мне взглянуть на Катю. Что ей сказать от вас?

— Я... я не знаю... так неожиданно... я совсем не затем говорил... — залепетал старший

Чилюк.

— Не могу же я оставить свою родную сестру черт знает в каком положении!

— Да, черт знает в каком... Как это странно, однако: вообрази, я считал тебя демократом!..

— К чему вы это? — изумился Александр Николаевич на недоумелую улыбку отца.

— Нет, так...

— Хотите вы, чтобы я вернул ее к вам?

Старик замялся.

— Друг мой! знаешь ли... по-моему, это неудобно... Конечно, я — как отец... но она так компрометировала мое имя, и потом... потом, если правда, что говорят об ее поведении, то как хочешь, держать ее в доме совсем неприлично... смеяться будут.

— А теперь над вами не смеются разве? Я думаю, хохочут по всей губернии!

— Увы! увы! Ты совершенно прав, мой друг... и вот поэтому-то я имею к тебе большую просьбу... очень большую... Уговори ты Катю уехать!

— Куда?

— Да чем дальше, тем лучше; чтобы забы-

ли про нее в здешних местах. Согласись, что я в ужасном положении: вечно под боком живой упрек, и всякий этот упрек видит... и наконец, чем я виноват, если она убежала?!

— Я вот что сделаю, — задумчиво выговорил Александр Николаевич, — я предложу ей уехать со мною.

— В Америку?! — обрадовался Николай Евсеевич.

— Зачем в Америку?! Я могу ее устроить в Петербурге, у моих друзей... Денег я предложу ей от себя, потому что от вас, как я замечаю, она, пожалуй, и не возьмет.

— Не возьмет! ни за что не возьмет! она гордая... Ах, Саша! если бы ты это устроил, я бы тебе, хоть ты и сын мне, в ножки поклонился! — прочувствованным тоном говорил Николай Евсеевич, пожимая руки сына, — ты и ее, несчастную, спасешь...

— И вам руки развяжу?

— Да, освободишь мою совесть... Саша, скажи: очень ты меня сейчас презираешь?

Александр Николаевич отвернулся. Ему было жаль отца...

— Эх, папа!.. — выразительно вырвалось у

него. Он махнул рукой, взял шляпу и вышел.

«Все-таки спасибо матери, — думал Александр Николаевич, идя узким проселком между двух волнующихся морей желтой ржи, — спасибо, что она родила меня похожим на нее, а не на отца. Распущенность, бесхарактерность, барство... это черт знает что такое! особенно если долго их не видишь и поотвыкнешь... Право, если подумать, что при другой, более нежной маменьке и из меня, пожалуй, развилось бы что-нибудь этакое расплывчатое, — можно извинить покойнице все ее порки, затрецины и колотушки».

Александр Николаевич шел пешком, потому что не хотел брать в Теплую слободу вместе с повозкою и кучера, чтобы не сделать, в его лице, всю отцовскую прислугу свидетелями свидания — не совсем-то ловкого, как он ожидал. Короткую дорогу до Теплой слободы он отлично помнил: в детстве ему часто случалось бегать в этот бойкий пригород поглазеть на воскресный базар, на девичьи хоровады и подвыпивших мужиков. Теплая слобода была местом шумным и людным, — на шос-

сейном тракте, с постоянными дворами, трактиром, панскими лавками, кузницами. Народ здесь жил богатый, больше мастеровой и торговый, работающий и трезвый... по крайней мере, не слишком пьяный: полслободы было заселено староверами-беспоповцами какой-то мелкой и пьющей секты. Ковачи, бабы-кружевницы и огороды Теплой слободы далеко славились.

Стук кузнечных молотов встретил Александра Николаевича далеко за слободской околицей. В черте селения он стал почти нестерпимым для ушей. Слободская улица открывалась целым рядом ковален, дымных и грязных, где кузнецы двигались, черные, как черти в аду.

— Бог в помощь! — сказал Александр Николаевич дюжему мастеру, возившемуся с топором на ветхой крыше лошадиного станка, — здравствуйте!

— Здравствуйте и вы! — ответил мастер, не отрываясь от работы.

— А где здесь, почтенный, живет Федосья Ивановна?..

— Которая Федосья Ивановна? три их у

нас... старостиха — раз, лавочница — два, а третья — тетка Федосья, кружевница...

— Ее-то мне и надо.

— А зачем вам тетку Федосью? — возразил мастер, роняя к ногам Чилюка длинные щепки, летевшие из-под быстрого топора.

Чилюк усмехнулся:

— Милый, ведь тебя не теткой Федосьей зовут? с чего же я тебе буду рассказывать, что мне надо?

Мастер воткнул топор в покрышу и по столбу спустился наземь.

— Нет, я ведь почему спросил, — добродушно извинился он, — еще здравствуйте... почему спросил? Федосья Ивановна-то родная тетка мне выходит... вон оно что... Я у нее за место сына сызмалу принят...

Александр Николаевич, живя с джон-булями и янки[4], заразился от них любовью к физической силе, свойственной западным народам гораздо в большей степени, чем нам, русским. Чилюк и сам был крепыш, точно из меди отлитый, но таких богатырей, как стоявший перед ним мастер, он и не видывал. Лицо мастера было запачкано сажей, только

большие голубые глаза весело и ясно улыбались на этой темной маске. Рукава рубахи мастер засучил и обнажил такие мускулы, что Чилюку даже весело стало.

— Здоров же ты, брат! — сказал он богатырю.

— Что мне делается! — ответил тот, широко и добро улыбаясь, — а тетки-то нету. Вы за кружевом, верно?

Александр Николаевич нашел, что ему подсказано хорошее incognito...

— Да, за кружевом.

— Нету ее. В город ушла плетеное продавать. Нынче в городе базар, — четверток на дворе... Да вы — ничего, пройдите. Коли заказать надо, так и Катерина Николаевна принять может... жилища у нас... — пояснил он, — и, что готового есть, покажет. Я вам мальчонку дам, он проводит...

Двор кружевницы, однако, был затворен. На калитке висел замок. Мальчонка перевалялся через плетень и предложил Чилюку последовать его примеру. Чилюк исполнил это гимнастическое упражнение с ловкостью, заслужившей полное одобрение черномазого

вожатого.

— Добре сигаешь, барин... — сказал он, — ты посиди часок на крылечке, а я за Катериной побегу... на огородах она...

Федосьина усадебка была из самых исправных в Теплой слободе, а Теплая слобода — из самых исправных великорусских пригородов. Во дворе чувствовалось то, что крестьяне называют полной чашей. Чилюк видел и понимал это относительное невзыскательное довольство, но, с отвычки от русской деревни, ему все-таки казалось, что кругом и бедно, и грязно...

«Впрочем, я и не в таких мурьях живал, — не без самодовольства подумал он. — Дивны дела Твои, Господи!.. Вот уж не подумал бы я месяц тому назад, что переплываю океан затем, чтобы сидеть теперь между плетней, смотреть на сорный двор с курами и этим бравым петухом... ишь орет... какой красный черт! — в ожидании таинственной сестрицы, не то барышни, не то мужички, которая — еще Бог знает кем окажется и как примет мое появление...»

Загремел замок. Скрипнула калитка. Во

двор вошла высокая девушка. У Чилюка задрожало сердце и судорога подошла к горлу.

— Здравствуйте. Вам кружевов? Не осудите на жданье... клубнику брала... сходит она у нас... — говорила девушка высоким звонким голосом, приближаясь к Чилюку и на ходу вытирая руки о передник. Александр Николаевич встал ей навстречу.

— Вы Катя Чилюк? — спросил он несколько сдержанным голосом и, не дожидаясь ответа, продолжал: — А я Александр Чилюк... ваш брат... из-за границы.

Катя выпустила из рук передник; на лице ее отразилось больше смущения, чем радости... Она застенчиво сказала:

— Братец Саша!

Она, видимо, не знала, как поступить при такой неожиданной встрече. Александр Николаевич, обнял ее и поцеловал. Он с любопытством всматривался в нее, напрасно стараясь найти в чертах стоявшей пред ним крестьянки черты Кати, так памятной и дорогой его воображению.

— Не смотрите, братец, — конфузливо смеясь, сказала Катя, — я с огорода, чучелом...

ведь нынче будни... Войдите в хату. Я самовар вам поставлю и приберусь, пока вскипит.

В хате было чисто и просторно, — сразу видно, что жильё семьи с достатком и не слишком людной. Пол не дальше как в последний праздник мытый, печь свежесвыбеленная, бревенчатые стены не черные, а только бурые: значит, есть смотрение за домом; ни паутины, ни тараканов. Катя исчезла за перегородку, разделявшую хату пополам от печи до двери, и после недолгих сборов вышла к брату принаряженною, в кумаче и бусах.

— Теперь хоть на человека похожа... — сказала она.

Александр Николаевич похвалил ее красоту и наряд, взгляделся в нее и подивился. Со всем не видно «барышни» в Кате, — словно она и родилась в этой избе, и век здесь прожила, а не два только года. Красавица — да! но красавица дикая, деревенская, — «с румянцем сизым на щеках», как пел некогда Фет, — большая, статная и с таким могучим мускульным развитием молодого здорового тела, что при каждом движении платье трещит и врозь лезет на груди и в плечах. Лицо — под

золотистым загаром, слегка огрубевшее от ветра и солнца. Силы и здоровья здесь больше, чем красоты, или вернее сказать, в них-то здесь и красота.

Разговор между братом и сестрой не клеился. Оба искали удобного случая, чтобы заговорить, как и почему они, после долгой разлуки, встретились при таких необыкновенных обстоятельствах, и Чилюку хотелось, чтобы начала речь об этом Катя, а Катя — чтобы начал Чилюк.

— Да... — решился наконец перейти к делу Александр Николаевич, — много воды утекло... перемен в нашей семье и не сосчитать... О себе я уже не говорю; моя история старая. Но ты вот... признаюсь, никак я не ожидал тебя встретить здесь.

— Братец! — перебила его Катя и на минуту глянула совсем прежнею Катей; черные глубокие глаза ее широко открылись и заискрились; лицо стало откровенным и доверчивым. — Вы не судите меня строго... право же, мочи моей не стало, братец... я ведь долго терпела...

— Я не про то говорю, Катя, — сказал Алек-

сандр Николаевич, — я очень хорошо понимаю, что положение твое могло быть невыносимым, что надо было уйти. Меня удивляет, зачем ты сюда ушла?

Катя не ответила; она сидела у обеденного стола, потупившись, и молча перебирала складки фартука.

— Послушай, — заговорил брат, после короткого молчания, — ты извини меня... я, может быть, мешаюсь не в свое дело. Ведь мы свои только по имени, по крови... я тебя оставил малюткой, без меня ты выросла, имеешь право считать меня чужим. Но у меня об одной лишь тебе — маленькой девочке — осталась хорошая память от всего нашего дома. Я тебе очень за это благодарен, право. Ты мне как бы связью с родиною была. Так ты меня другом своим считай, а не бойся. Если тебе неприятно, ты можешь не отвечать; но поверь, — я спрашиваю тебя только потому, что хочу тебе хорошего и желал бы устроить твою жизнь как тебе будет угодно и как только могу я лучше, поэтому ты будь со мною откровенна.

Катя подняла свои доверчивые глаза.

— Да я не скрываюсь, братец... — сказала она, — я потому вам ничего не ответила, что, боюсь, не сумею вам объяснить... Ведь я дурочка — не дурочка, а около того... Меня маменька аспидной доской — ребром за углом — по голове много била... Сама про себя я много думаю и, что скажут мне, соображаю, как следует... а вот говорить — смерть моя... Тоже памяти нет... Верите ли? чему меня учили, все я забыла. Писать стану — буквы пу-таю... Ну... да вот видите!

Она подняла руку ко лбу, на котором мелкими каплями выступила легкая испарина; лицо ее несколько побледнело, — большого напряжения стоила ей долгая, складно обдуманная речь. Александр Николаевич наблюдал ее с удивлением и жалостью.

— Гм... вот что... — задумчиво протянул он. — Это для меня новость, об этом отец мне не говорил... Говорил, что у тебя не было способностей — и только...

— Особенно ничего и нет; мне даже и доктор один сказал, что я в своем уме весь век доживу; а вот именно, что способностей у меня никаких...

— Ну, хорошо. После об этом. Вернемся к старому. Вот вижу я тебя в этой избе, в этом наряде; руки у тебя рабочие... Заметно, что ты не даром здесь живешь и от труда не бегаешь. Не подумай, что я тебя укоряю этим. Я сам прошел рабочую школу, какой — прямо скажу — тебе не испытать. Не то что русскому мужику — русскому каторжнику легче, чем нашему брату, вольному рабочему, пока он проложит себе дорогу и выйдет из грязи в князи, как вышел я. Следовательно, говорить с тобою как товарищ я имею право. Хорошо. Ручной труд я уважаю столько же, как и умственный. Но в России люди нашего класса берутся за него только в крайней необходимости, чтоб уйти от него при первой возможности, как и я вот теперь постарался уйти. А тебе не было неизбежной надобности выбирать его, да еще в такой форме: у нас есть родные; наверно, ты имеешь знакомых, даже друзей; тебе было бы легко найти себе какое-нибудь место — гувернанткой, компаньонкой, чтицей, продавщицей в магазин, наконец... А ты ни к кому не обратилась, — ушла сюда, к Федосье. Отчего?

— Да все оттого же, братец.

— Способностей нет?

— Да.

Александр Николаевич пожал плечами.

— Видите ли, братец, — с расстановкой продолжала Катя, и опять мелкие росинки выступили у нее над бровями, — я из дома давно задумала уйти: как только эта Сашка у нас проявилась... — с нескрываемой ненавистью выговорила она противное ей имя, необыкновенно живо напомнив Чилюку его грозную мать. — Вот тогда я и передумала обо всем, что вы говорите. Магазинов у нас в городе нет, так о продавщице только не думала. Стала я пытаться себя, гожусь ли куда: в гувернантки ли, в учительши ль... в акушерки очень хотелось... Нет — словно каменная у меня голова: ничего-то к ней не пристает, ничего-то в ней не держится. Что сегодня выучу, завтра... какое там, завтра! — через полчаса забуду. Все слова улетают, один только туман остается. Тут мне доктор этот подвернулся. Ни на что, говорит, вы не найдете; у вас не все дома. Вы и здравомыслящая, и все; но у вас способности к учебе отшиблены... Оно и

впрямь: как не отшибить? — все тем же ровным голосом заметила она, взяла руку брата и положила ее на свою голову, — чувствуете, какой шрам?.. У меня тут даже плешка, с семитку, пожалуй, а то и больше; волосами зачесываю; хорошо, что густые — не видать... Так, говорит доктор, и знайте, что дальше не лучше, а хуже будет... насчет памяти то есть. Ну, тогда я себя и порешила. Скажите, братец, ведь стыдно человеку без всякого дела жить на даровом хлебе?

— Стыдно, Катя...

— Да еще когда этот хлеб так дорого, таких обид стоит, что поперек горла становится... Я и пустилась своего хлеба искать. Головой не могу найти, — думаю, руками найду...

— Извини, Катя, — поспешно перебил ее брат, — ты Толстого не начиталась ли?

— Нет... Какой Толстой? — спросила Катя с откровенным недоумением.

— Писатель. Он почти то же говорит, что и ты. Только он вовсе умственный труд отмечает... всех зовет к ручному.

— Нет, я бы учительшей либо акушеркой больше хотела быть, чем — как теперь, —

вдумчиво молвила Катя. — Хорошо, у кого в уме светло... Но как я ничего не могу, то, стало быть, и состоять мне при ручном деле. Заходила я иной раз к маме Федосье, — ведь она кормила меня, помните, братец? — нравилось мне, как она живет, кружевничает... работа хорошая, тонкая... Мама Федосья была ко мне добра... Я выплакала ей свою беду, что у папаши я жить не могу, а идти некуда. Либо я зарежу Сашку, либо дом сожгу, либо сама утоплюсь... Мама Федосья мне и говорит: нет, ты, Катя, не режь ее и сама не топись, а, как станет тебе невтерпеж, приходи ко мне; я тебе что-нибудь присоветую...

— Подожди, Катя, — перебил ее опять Александр Николаевич, — эта Александра Кузьминишна мне самому показалась противна... но с чего, собственно, началось у тебя такое озлобление?

Катя всплеснула руками.

— Братец! да как же иначе? Ведь она — как у нас проявилась? Когда мамашу разбил паралич и отнялись у нее ноги, — она меня ни на шаг от себя не отпускала; по хозяйству хлопотать было некому; вот и взяли в дом эту про-

клятую... Мамаша с места двинуться не может: а она — бесстыдная! в ее же доме... Нет, братец, вы со мной про это не говорите, а то я тут сбиваюсь... — сказала она с потемневшим лицом; но вдруг сама близко наклонилась к Александру Николаевичу:

— Братец, а ведь она мамашу удушила!..

Чилюк невольно отшатнулся. Мурашки пробежали у него по спине.

— Что ты, Катя... Бог с тобою...

— Удушила, братец! Доктора говорят, будто мамаша померла от второго удара... А отчего же этот удар приключился как раз в ту ночь, когда я у мамыши в спальне не спала?.. Прокралась, подлая, в спальню, да подушкой и задушила. Вы моему слову верьте. У меня есть в сердце такое, что меня никогда не обманет. Мамаша хоть и без ног, а еще бы десять лет прожила: она была крепкая...

— Бредишь ты, Катя...

— Все вот так говорят, все! — с горечью возразила Катя, — и папаша, и даже мама Федосья, на что уже всякому моему слову верит. А я врать не умею... Вы слушайте: я в маменькиной комнате, когда покойницу на стол уби-

рали, Сашкину подвязку нашла и спрятала... Тогда у меня и подозрения никакого не было. После — много после — папаша как-то раз говорит мне, чтоб я его простила, если он женится на Александре Кузьминишне. Тут мне в виски так и стукнуло, так все мне и просветлело, и, как мне дело представилось, так я все и выложила папаше. Он рассердился, затопал на меня ногами и прогнал с глаз долой; а вскорости прилетает ко мне сама Сащка, — лица на ней нет... И давай на меня кричать: как я смею клеветать на нее. А я вынула из ящичка подвязку и спрашиваю: это — что?.. Она вся побелела, прыг ко мне, выхватила подвязку из рук да в карман ее... Я к ней бросилась, а она... ох, братец!..

Катя, бледная, как мертвец, опять пригнулась к брату, почти уронив голову ему на плечо.

— Она меня по щеке два раза ударила! — глухо прошептала она.

Чилюк ничего не сказал, но так ударил кулаком по столу, что доски затрещали и вздрогнула посуда на надстольных полках. Он встал и медленно прошелся по избе. По-

том наклонился к сестре и поцеловал ее в голову. Катя почувствовала слезу, упавшую на ее волосы, и покраснела; взор ее засверкал благодарным восторгом и слезами...

Кое-как справившись с волнением, она продолжала:

— Я тогда обезумела... к пруду бросилась... да на самом берегу вспомнила маму Федосью: не топись, а приходи, посоветуйся... Так, в чем была, и прибежала к ней, и выплакалась... «Утро вечера мудренее», — говорит мама. Напоила меня малиной, уложила спать, а Максима — племянник ее, кузнец, — послала в нашу усадьбу сказать, чтобы не беспокоились, что барышня-де у нее отдыхает. Поутру рано, с зорькою, будит меня мама Федосья: «Вставай, Катюша, обряжай вот эту одежду, — платье мне простенькое припасла, — да пойдем-ка мы с тобой к Пафнутию в Боровск[5], помолимся! Авось в мозгах-то у тебя просветлеет, — увидим, как тебе дальше быть...» Целую неделю до Боровска шли, там три дня пробыли... Назрело у меня в душе — пойти к маме Федосье в жилички... Дальше — как сами видите.

Катя умолкла.

— Катя! — сказал Александр Николаевич, крепко взволнованный, — ты молодец... только этому конец положить надо. Что себя мучить? Я тебя увезу отсюда...

Катя, не глядя на брата, покачала головой.

— Ты не хочешь?.. значит, довольна?..

— Довольна, братец, я здесь при деле. Привыкла.

— Дело будет и в другом месте, и привыкнешь к другому месту.

— Что, братец, — как слышно? войны не будет? — не отвечая, спросила Катя.

— Нет, кажется... а что?

— Я бы в милосердные сестры пошла... А так, просто — куда мне ехать, братец? зачем?

— Я тебя устрою в Петербург к хорошим людям...

— Что же я у них делать буду?

— Что понравится, что знаешь...

— А я же ничего не знаю... а что умею, тому здесь место, а в Петербурге ни к чему... Даром я хлеба есть не хочу... дурочкой между людей жить тоже не согласна... У меня гордость есть. Нет, братец, — вы только не оби-

жайтесь, родной! — оставьте меня, как нашли, не ворошите... И мне придется привыкать к новым людям, и новым людям ко мне; полюбимся ли друг другу, еще бабушка надвое сказала, — а здесь уже дело верное. И я люблю, и меня любят...

В уме Александра Николаевича мелькнула быстрая мысль...

— Позволь, Катя, — остановил он ее, — я вижу, что ты честная девушка, и тебя не следовало бы об этом спрашивать, но отец намекал мне о каких-то дурных слухах...

— Я знаю, что на усадьбе про меня говорят, — спокойно сказала Катя, глядя прямо в глаза Александру Николаевичу, — что у меня любовник есть. Вы не верьте. Лгут. Никакого у меня любовника нет. Чудные! коли на меня плохо надеются, хоть мамушке бы поверовали: она у нас строгая, святая, — все знают... Вот, — она улыбнулась, застыдилась и покраснела, — замуж я, может быть, точно пойду...

— За кого же? за здешнего?

— Да... за Максима, матушкина племянника...

— Ты его любишь?

Катя задумалась.

— Люблю... — не совсем смело начала она и потом гораздо решительней договорила: — Очень уж хороший он человек, мало таких на свете, и меня крепко любит...

— Совсем, значит, свяжешь себя с Теплой слободой?

— Совсем... что же? Я ведь с нею расстаться и так не собираюсь, — сказала Катя и вдруг неожиданно прибавила: — Он меня из воды вытащил... случилось тут... тонула я один раз...

— Как же случилось?

— Так... Вы не думайте, что я нарочно... просто, на плоту мыла белье, да и сорвалась. Плавать я хорошо умею, да меня под плот затянуло. Другие девушки закричали; Максим подоспел, бухнул в воду и вытащил... После того мы с ним и поладили, чтобы повенчаться.

— Конечно, дай тебе Бог счастья, но... Скажи, пока ты жила у отца, ты ни разу не соби-
ралась замуж идти?

— Нет... Маменька последние годы боль-

ная была, — как мне от нее было уйти? А женихи тогда были. Александра Кузьминишна тоже подыскивала мне женихов, — сбыть меня ей хотелось; да как же можно за нелюбимого человека замуж идти?.. зачем?..

— А никто не нравился?

Катя промолчала.

— Не уживаются по нашей глуши хорошие люди из нашего сословия, — сказала она потом, — скучно им тут, к большим городам их тянет... за пьяницу, либо бездельника, либо слабодушника, хоть бы и полюбился на грех, какая радость выйти? Был один, — тихо сказала она, — доктор... хороший человек... шибко мне нравился, и я ему... Только я этому доктору сама сказала: вы меня оставьте! я не для вас... Я вам не пара...

— Почему же, Катя?

— Умный он был, очень образованный. Все говорили, что ему в столице большая дорога будет, когда он земский срок отслужит. Ну... на что ему такая жена, как я? Неуч, беспамятная... Всюду бы я его осрамила, всякие бы пути ему завязала. Сокол в небо рвется, а я ему — путы на ножки... что хорошего? И Бог

весть, надолго ли бы его любви хватило?... Кандалы, хоть из золота их слей, милы не будут... Да и любовь ли еще была? Глушь ведь у нас... скука... а я не урод собой... к тому же видел он, что меня крепко обижают... вот и пожалел... Подумала я так-то ночку, другую, заплакала — и отказала...

— Тяжело тебе было! — участливо отозвался Александр Николаевич.

— Не-хо-ро-шо, — раздумчиво протянула Катя, — что же? не все мед пить, напьешься и водицы... Прошло уже, забылось... Он теперь в Петербурге... Жениться стал — письмо прислал... хорошее письмо... только лучше бы его не писать было! А то что такое? Точно благодарит: спасибо, что меня не погубила...

Катя засмеялась, и звонкий звук смеха свидетельствовал, что неудачный роман не оставил в ее душе никакой горечи...

— Ах, Катя, Катя! — улыбаясь, говорил Александр Николаевич, — видал я чудных людей, а таких, как ты, не случалось... Так не поедешь со мной?

— Нет, братец... простите... не поеду. От добра добра не ищут.

— Как хочешь, дитя мое, неволить я тебя не буду. Насильного счастья не бывает. Я довольно пожил на свободе, чтобы не знать этого... Но я богат. Позволь мне помочь тебе. Вы... — он окинул глазами убранство хаты, — не слишком-то здесь роскошничаете...

— Вы денег хотите мне дать? — спросила Катя.

— Если позволишь...

— Денег мне дайте, если богаты. Мы оттого и свадьбу не играем, что надо новую хату ставить, а денег у нас не богато... Я вам скажу, братец, правду, что мама Феодосья стала на старости к беспоповцам клонить, и они ее очень почитают. Ну, а нам с Максимом что же ее тяготить? В одной хате две веры нехорошо... ссориться станем...

— Да, возьми, сколько хочешь. Ты у меня одна, — мне не жалко.

— Чай, женитесь, братец!

— Женюсь ли, нет ли, это еще вилами на воде писано... А ведь твоего Максима я уже видел! — весело воскликнул Чилюк, глядя в окно, — право, видел: он станок починял... Ведь это он идет по двору?

Когда молодой кузнец показался на пороге хаты, в ней сразу стало как будто тесно. Думалось — шевельнется этот богатырь, и либо плечом стену высадит, либо головой потолок проломит. Вымытое лицо, чистые руки и мокрые волосы показывали, что, по дороге из кузницы, он забежал на пруд искупаться. Александру Николаевичу богатырь показался почти красавцем, со своим румяным лицом, рыжеватой бородой и веселыми голубыми глазами, которыми он с великим недоумением уставился на Катю: это, мол, что за гость у вашей милости? Зачем?

— Максим, это мой брат, Александр Николаевич, из-за границы приехал, — улыбаясь, сказала Катя, — не забыл меня, спасибо ему, пришел навестить...

Улыбка Кати отразилась на лице кузнеца так светло, быстро и широко, что, казалось, он весь засветился: и глаза как будто стали ярче, и румянец алее, и борода рыжее. Он низко поклонился и несмело протянул руку Чилюку. Руки были пожаты крепко, приветствия сказаны горячо, но затем наступило неловкое молчание. Александр Николаевич

с досадою чувствовал, что, при всей своей опытности, при всем своем навыке к обращению с самыми разнообразными людьми, он не находит тона, которого надо держаться. Они смотрели друг на друга, как люди разных миров — с любопытством, но без участия, и с некоторой боязнью. Всем троим было неловко. Побормотав несколько вялых фраз, шаблонных и бесцветных, о своей радости за сестру, о своей уверенности, что выбор ее пал на хорошего человека, Чилюк резко оборвал речь, встал и начал прощаться. Максим, слушавший Александра Николаевича с каким-то конфузливym испугом в глазах, был, видимо, рад, когда Чилюк замолчал. Катя не удерживала брата.

— Я приду в город проводить вас, — сказала она, любовно глядя в глаза Александру Николаевичу; и он по взгляду ее понял, что она отлично чувствует, как неловко ему между нею и Максимом, но извиняет ему это и не сердится. — В усадьбу мне нельзя, а в город приду. Вы дайте мне знать, когда будете уезжать.

— Завтра вечером я уеду.

— Скоро так? — грустно отозвалась Катя.

— Эх, — искренним вздохом вырвалось у Александра Николаевича, — что мне тут делать, Катя? У вас здесь, на Теплой слободе, — все свое, новое; там, на усадьбе, — тоже свое, хоть и старое... И здесь, и там я лишний, чужой человек; от старого отвык, к новому не привык; старое, Катечка, мне противно, новое — непонятно. А времени разбираться нету. Жизнь у меня в деле: как вода в котле, ключом кипит. Прощай, друг Катя! Шел я тебе помочь, а отчасти, каюсь, и поругать тебя, но крепко ты мне полюбилась. И жаль мне тебя оставлять здесь, и думается мне, что ты хорошо себя понимаешь и устроишь свою судьбу лучше, чем устроил бы я. Оставайся и живи, как знаешь. Пусть тебя другие, как хотят, судят, я же тебе не судья. Вижу, что ты честная девушка и ничего бесчестного не то что сделать, даже подумать не в состоянии... Тем хуже для тех, кто будет тебя порочить! А плохо тебе придется — напиши: чем могу — словом ли, деньгами ли, всегда выручу... А завтра приходи в город, я тебе кое-что хорошее скажу...

Максим и Катя проводили Александра Николаевича далеко за околицу. Оглядываясь, он долго видел их стоящими на придорожном бугре, над золотым потоком ржи.

Когда пред Чилюком поднялись из-за кудрявой рощи красные кровли отцовской усадьбы, ему стало не по себе. Он не поверил тому, что Катя говорила о смерти матери, но провести ночь под одной крышей с Александрой Кузьминишной, после этого рассказа, показалось ему невыносимо гадким... Едва ступив на крыльцо дома, он уже распорядился, чтоб ему готовили лошадей в город. Николай Евсевич по лицу сына угадал, на чьей он стороне, и сконфуженно развел руками... Александр Николаевич коротко передал ему подробности своего свидания с Катей, свое намерение помочь ей деньгами и заключил:

— А от вас, папа, прошу одного: оставьте вы ее совсем в покое, не мешайте ей быть счастливой. Мы с вами слишком мало сделали для нее, чтоб иметь право на вмешательство в ее жизнь...

— Воля твоя... я этого не понимаю, — бормотал старик, — ты сочти, сколько жертв она

приносит: выйти из сословия, выйти из семьи, из своего общества... и для чего же? Для благосостояния, комфорта, покоя? Нет, для добровольной каторжной работы, для удовольствия перебиваться с хлеба на квас, в хате... Черт знает какие люди на свет родиться стали!.. И... извини меня: ты мне еще чуднее Кати. Ее странность я могу объяснить хоть тем, что ее мать била по темени аспидной доской. Но ты — сильный, неглупый, образованный человек — и вдруг вторишь этой безумной. Ради чего? Что ты находишь в ней отрадного?

— Видите ли, папа, — перебил Александр Николаевич, — семья, в которой житья нет, общество, членом которого имеешь право быть, но не имеешь возможности, и сословие, значения которого не понимаешь, — вовсе не такие драгоценности, чтоб от них не отказался человек, когда его чутьем потянет к счастью за пределами этих перегородок. Катю потянуло — она и ушла. Вы говорите о покое... Покой хорош только как отдых, его знают только те, кто устает. Люди не работающие знают не покой, но оцепенение. И живой

душе в мире оцепенения жутко. Вырвется она за его границы и уйдет, куда попало — все равно, на счастье или на несчастье, лишь бы и то, и другое было свое: добытое своею волею, своими руками, своей головой. Ведь только это-то и называется жить. Я знаю это, потому что на себе испытал. И не пробуйте понимать чужого счастья — не поймете. Я сам Катиного счастья не понимаю, и мне ее как-то жалко, а между тем я видел ее искренно счастливою. Оставьте ее!.. Кроме вреда, мы с вами ничего ей не принесем... Она не наша — своя! Пусть же эта чудачка и счастлива будет по-своему.

Примечания

Рассказ написан в 1890 г., по словам автора, «под впечатлением одного частного случая». Входил в сб. «Фантастические правды».

Печатается по изд.: Амфитеатров А. В. Бабы и дамы: (Междусословные пары). 2-е изд. Спб., 1911.

Примечания

Импровизация (лат.).

[^^^]

Как крестьянка (фр.).

[^^^]

3

Дорогой... И говорят, наконец... любовник
(фр.).

[^^^]

4

Джон-були и янки — шуточные олицетворения англичан и американцев.

[^^^]

...к Пафнутию в Боровск... — т. е. на поклонение мощам преподобного Пафнутия Боровского.

[^^^]